

Алекс Тарн

## ТОМИК В МЯГКОЙ ОБЛОЖКЕ

Рассказ

Сжатый темной теснотой, туго спеленатый вместе с другими точно такими же, как он, Юрий Андреевич сначала не чувствовал ничего — вообще ничего. Неудивительно: чтобы чувствовать, вспоминать, жить, надо по меньшей мере отделиться от общей массы, стать самостоятельным субъектом, а до этого, видимо, было еще далеко. Кроме того, он плохо понимал по-английски. Обрывки немногих реплик, доносившиеся сквозь несколько слоев толстой оберточной бумаги, звучали совершеннейшей абракадаброй, поэтому Юрий Андреевич счел за благо не вслушиваться и отключился до лучших времен.

Потом его, опять же, как и других, грубо ворочали, швыряли, переворачивали — и так, и эдак, до тошноты, до полного отупения. Внешний мир проявлял себя то дробной дорожной тряской, то воем стартующих авиационных двигателей, то жутким холодом багажного отделения. Трудно сказать, как долго их перетаскивали, перевозили, перебрасывали с места на место. Но вот наконец послышался треск разрываемой обертки, и в глаза Юрию Андреевичу ударил яркий электрический свет.

— В мягкой обложке? — сказал кто-то по-немецки.

Немецким и французским Юрий Андреевич владел более-менее свободно.

— Как показывает опыт, твердые обложки все равно отрывают, — отвечал другой голос.

— Отрывают? Зачем?

— Легче спрятать. Бывает, вообще, расчлениют на четыре-пять кусков...

— Дикость какая...

— Так что, берете?

Первый взял Юрия Андреевича в руки и бегло перелистал. Это было неизъяснимо приятное чувство, острое ощущение начавшейся личной жизни, самостоятельной, отдельной от двойников — товарищей по пачке.

— Я практически не читаю по-русски... — брюзгливо проговорил листающий. — Как объясню, если задержат на таможне?

---

*Алекс Тарн* — поэт, прозаик. Родился в 1955 году. Жил в Ленинграде, откуда репатриировался в 1989 году. Автор нескольких книг. Стихи и проза печатались в журналах «Октябрь», «Интерпоэзия», «Иерусалимский журнал». Живет в поселении Бейт-Арье (Самария).

Предыдущая публикация в «ДН» — роман «Шабатон» (2020, № 8).

— Вы ничем не рискуете, — возразил его собеседник. — Самое худшее, что может произойти — отнимут и отпустят. Никто не бросит вас в тюрьму за найденную в багаже книгу нобелевского лауреата.

— А если не отнимут? Кому потом...

— По вашему выбору. Там и сориентируетесь, прямо на симпозиуме.

— Хорошо... — с явной неохотой согласился первый.

Он захлопнул маленький, карманного формата томик и сунул его в портфель, где уже находились — как видно, на более законных основаниях — две пухлые папки с тесемками, огромная монография по физике твердого тела, дневник-календарь в роскошном кожаном пальто и плоская фляжка, распространявшая едва уловимый аромат отдыха от трудов и забот.

— Коньяк? — приветливо поинтересовался Юрий Андреевич.

— Скотч, — помедлив, булькнула фляжка. — А вы, судя по акценту, француз?

— Русский.

— Пфуй...

Последнее презрительное междометие принадлежало твердотельной монографии, которая явно считалась здесь за главную. Не удовлетворившись этим кратким, но емким выражением неудовольствия, она тяжело навалилась на Юрия Андреевича жестким дерматиновым боком. Он попробовал было сдвинуться ближе к папкам, но те в ответ еще больше распухли — теперь уже от возмущения. Фляжка тоже замолкла и отвернулась, вжав в плечи блестящую бескозырку. Что касается дневника, то тот и вовсе ни на кого не смотрел ввиду крайней занятости.

«Ну и черт с вами, — подумал Юрий Андреевич. — В пачке еще тесней было, а ведь как-то выжил. Справлюсь и теперь...»

И действительно, вскоре его перенесли в чемодан — к тщательно отглаженным брюкам, галстукам и рубашкам. Впрочем, Юрию Андреевичу досталось место попроще, в другом, менее упорядоченном углу, рядом с туфлями, электробритвой, одеколоном и таблетками от изжоги. Хозяин чемодана аккуратно заполнил пустоты туго свернутыми носками и прикрыл сверху слоем трусов, под которые после некоторого размышления засунул упаковку презервативов. Получилось, хотя и не нарочно, но не очень хорошо: прямоком на мягкую обложку — можно даже сказать, на лицо Юрия Андреевича, — на что тот отреагировал обычным образом, чрезвычайно характерным для целомудренной природы идеального российского интеллигента: то есть сначала задохнулся от возмущения, а затем, поняв принципиальную бесплодность борьбы, постарался перенести вопрос в философскую сферу.

— Ну вот, опять! — фыркнул флакон одеколона. — Зачем он каждый раз это берет? Какой смысл? Потом ведь все равно обратно повезет.

— На всякий случай, — пояснили трусы, относительно новые, но уже много повидавшие. — А чего не взять-то? Места не занимает, не то что некоторые...

Все посмотрели на довольно объемистую электробритву, но та не ответила, ибо обрела дар речи лишь при подключении к розетке.

«Народ, простой народ со своими насущными проблемами... — меланхолически думал Юрий Андреевич, прислушиваясь к разговору соседей. — Проблемы жизненной скученности, судьбоносной случайности, проблемы пропитания и смысла...»

Снаружи звучало радио, шумела городская улица, ревели двигатели аэроплана, перекрикивались грузчики — сначала по-немецки, а затем и на родном русском наречии. Чемодан с Юрием Андреевичем и его попутчиками бережно несли, поспешно катили, немилосердно швыряли и снова катили, и снова несли неведомо куда, и в этой

внешне бессмысленной и непостижимой тряске трудно было не усмотреть продолжения все той же в чем-то трагической, а в чем-то вполне заслуженной судьбы социальной прослойки, к которой всем своим существом принадлежал Юрий Андреевич.

«Я всего лишь прослойка, — думал он. — Пропахшая этим проклятым попутным одеколоном прослойка, прижатая к бритве толстым слоем трусов. Ведь залог нашего интеллигентского бытия — терпение. Терпение, несмотря ни на что, невзирая на любые испытания — даже самые неприятные, какие судьбе угодно навалить нам на плечи, или, как в данном случае, на лицо. Потому что так хочет народ, так хочет история...»

И все же Юрий Андреевич вздохнул с облегчением, когда хозяин чемодана, обосновавшись в гостиничном номере, переложил книгу в знакомый портфель. Теперь здесь было куда просторней — ни тебе папок, ни тебе монографии — только чванливый ежедневник, который Юрий Андреевич мысленно окрестил «комиссаром» за его кожаную тужурку, и плоская фляга, совершенно опустошенная долгой дорогой, а потому не расположенная к беседе.

Там, внутри, Юрий Андреевич провел несколько томительных дней. Время от времени слышался плавный шелест замочков, и клапан откидывался — широко и щедро, как и полагается солидным портфелям. «Неужели меня?» — с замиранием сердца думал Юрий Андреевич, но всякий раз обманывался в своих ожиданиях. Чаше всего на выход приглашалась фляга, иногда — «комиссар». Случалось, что рука хозяина задумчиво касалась и мягкой обложки Юрия Андреевича. Касалась, медлила, словно сомневаясь, стоит ли вытащить томик наружу, и минутой-другую спустя, так и не отважившись на это, вновь захлопывала клапан.

Так продолжалось до тех пор, пока однажды портфель не остался открытым. По характеру проникавшего внутрь прохладного света можно было догадаться, что он стоит возле окна — по-видимому, на широком подоконнике. Неверной рукой пошарив внутри, хозяин вытащил уже наполовину пустую флягу.

— Давайте попьём за ваш здоровье! — проговорил он на ломаном русском. — Профессор! Пожалуйста! Прелестный скотч!

— Что вы, господин Мозер, — отвечал кто-то другой с оттенком беспокойства. — Прямо здесь, в коридоре?

— Почему нет? — повысил голос немец. — Я улетает сегодня, а мы так и не попили!

— Ладно, давайте... Прозит!

Послышалось бульканье, и после непродолжительной паузы фляга вернулась в портфель.

— Я хочу спросить про этот роман, — сказал хозяин. — Вы читаете его?

— Не понимаю, о чем вы, — отозвался его названный профессором собеседник. — Какой такой роман?

Немец принужденно рассмеялся:

— Вы знаете какой... Так читаете? Или нет?

— Нет, господин Мозер, — сухо ответил профессор. — У нас подобные вещи в книжных магазинах не продаются.

— Это не есть проблема, — рука снова нырнула в портфель и выудила оттуда Юрия Андреевича. — Вот, пожалуйста. Подарок...

Глазам Юрия Андреевича предстал длинный учрежденческий коридор — странно безлюдный, хотя время было явно дневное, урочное. Вдоль внешней стены тянулась шеренга окон с наглухо заделанными, грубо покрашенными, залепленными

пожелтевшей позапрошлогодней бумагой рамами и широченными старорежимными подоконниками. А за окнами... за окнами мерцало низкое северное небо, поблескивала сталью река, а за рекой, словно подчеркивая господствующую вокруг серость, сиял неожиданно яркий золотой купол.

«Петербург, — подумал Юрий Андреевич. — Или, как его сейчас называют, Ленинград. Жаль, конечно. Я предпочел бы Москву и москвичей. Но выбирать никто не предлагал...»

— Вы что мне предлагаете? — словно подслушав, прошипел ленинградский профессор. — Вы с ума сошли! Немедленно уберите эту гадость!

Его серое обрюзгшее лицо в обрамлении неопрятной седины качнулось туда-сюда и отпрянуло. Немец жалобно пискнул, тщетно пытаясь найти слова самооправдания, но профессор уже повернулся к гостю спиной и твердым шагом маршировал вдоль ровного строя окон, подобный генералу, наотрез отказавшемуся капитулировать.

— Черт бы тебя побрал... — перейдя на немецкий, пробормотал хозяин.

«Неужели опять в портфель?» — уныло подумал Юрий Андреевич.

— Черт бы тебя побрал... — подняв книгу ближе к глазам, повторил немец, и Юрий Андреевич понял, что проклятие адресовано вовсе не профессору.

Широкими шагами миновав коридор, господин Мозер ворвался в уборную, и с полминуты колебался, прикидывая, куда выбросить опостылевший томик. Унитаз не подходил из-за опасности засорения, открытая форточка — из-за угрозы здоровью прохожих, мусорной урны в туалете не наблюдалось. Не найдя ничего лучшего, немец пристроил Юрия Андреевича под окно и, облегченно вздохнув, исчез навсегда вместе с портфелем, пустой флягой и надменным ежедневником.

В уборной стояла застарелая сортирная вонь, и Юрий Андреевич с тоской вспоминал тонкие запахи чемодана и портфеля, искренне не понимая, как можно было жаловаться на соседство с флаконом одеколona. Но вскоре, приняхавшись и попривыкнув, он опять же решил взглянуть на происходящее с философской, почвенной точки зрения. В конце концов, нет ничего более застарелого, чем почва, с ее живительным перегноем, с ее диалектикой вечной утилизации мертвых тел во имя новых и новых рождений. Юрий Андреевич уже собирался развить эту мысль, надеясь добраться в промежуточном итоге и до частного случая интеллигента в общественной уборной, но тут хлопнула дверь и вошел молодой мужчина в бороде и синем лаборантском халате, отчего Юрий Андреевич немедленно — и наверняка несправедливо — окрестил вошедшего «Синей Бородой». Насвистывая простенький мотивчик, Синяя Борода вытряхнул папиросу из пачки, закурил и подошел к подоконнику с явным намерением на него взгромоздиться.

Сердце у Юрия Андреевича екнуло. Продолжая насвистывать, бородач уселся поудобнее, подобрал томик, открыл его на середине, полистал, скользя равнодушным взглядом по густо посаженным строчкам и, уже собравшись было отложить, добрался-таки до титульного листа. Свист резко оборвался, сменившись изумленным безмолвием. Синяя Борода закрыл книгу, вернул ее на прежнее место, спрыгнул с подоконника и несколько раз прошелся взад-вперед, заглядывая в кабинки и зачем-то всматриваясь в углы давно не беленого потолка.

Завершив этот странный обход, лаборант остановился перед затаившим дыхание томиком и, качнув головой, произнес длинную матерную тираду, куда более замысловатую, чем те, которые Юрию Андреевичу приходилось слышать за все время Гражданской войны, включая пребывание в таежном партизанском отряде. В коридор

они вышли вместе: бородач — поминутно оглядываясь и продолжая вполголоса материться; Юрий Андреевич — в кармане синего халата, вплотную к грубоватой папиросной пачке, которая пахла махоркой, то есть тоже весьма народно и почвенно, хотя и не в такой степени, как уборная.

Синяя Борода, по паспорту — Геннадий Восьмёркин, был аспирантом с кафедры минералогии, уроженцем промышленного уральского города. К моменту знакомства с Юрием Андреевичем Восьмёркин проживал в университетском общежитии. Как раз за неделю до описываемых событий ему существенно улучшили условия, переселив из густонаселенной шестикоечной комнаты в другую — поменьше, зато на двоих. Новым соседом Гены оказался старик на вид лет шестидесяти. Старика звали Мигулёв, и он учился на четвертом курсе истфака, восстановившись на факультете после лагеря, штрафбата, повторного срока и последующей реабилитации. На самом деле ему не было еще и сорока.

К художественной литературе Гена Восьмёркин относился сдержанно и, если бы не скука и скученность общежития, вряд ли вообще брал бы в руки какую-либо книгу, кроме, конечно, учебников. За Юрия Андреевича он взялся сугубо из любопытства, побужденный к тому невиданной страстью, с которой газеты прорабатывали преступного автора. Увы, к разочарованию Гены, роман не содержал ничего интересного — сплошные разговоры ни о чем, а действия чуть. Втайне Восьмёркин всерьез рассчитывал на сцены насилия и порнографии, которыми, как известно, пестрит порочная капиталистическая культура, и, не обнаружив их, чувствовал себя обманутым вдвойне. Зачем он как дурак рисковал, пронося крамолу через проходную? Зачем таился от соседа, захлопывая книгу всякий раз, когда тот оказывался в опасной близости?

Впрочем, последнее не помогло; наметанный глаз бывалого зека без труда определил причину Гениного смущения.

— Ты вот что, парень, — сказал Мигулёв, помешивая черный-пречерный чай в мятой кружке, которая вместе с алюминиевой ложкой составляла весь набор имевшейся у него посуды. — Не знаю, кто ты сам будешь, но меня за стукаря не держи. Я к куму по своей воле не хаживал, только под конвоем. Что там у тебя? Оруэлл? Авторханов?

— К-кто? — оторопев, выдал Восьмёркин, никогда до того не слышавший прозвучавших имен. — Какой орел? Каких ханов?

— Хватит в дурочку играть, — усмехнулся сосед. — Передо мной-то не надо. Не хочешь — не говори.

— А ты... откуда... как ты...

Мигулёв насмешливо подмигнул.

— Как-как... зеленый ты совсем, необученный, вот как. Во-первых, жмешься, как малолетка. «Граф Монтекросто» так не читают. Во-вторых, формат у книжечки не наш, бумага тоненькая, шрифт другой. Короче говоря, сразу видно: тамиздат.

— Да я не нарочно, — еще больше смутился Гена. — Я это в сортире нашел, на подоконнике.

— Само собой! — подхватил отставной зек с выражением искреннего сочувствия. — Верю! Конечно, в сортире. Они ведь там грудями лежат, такие книжки. На подоконнике. Говорят, их там же и печатают.

— Да ну тебя! — разозлился Восьмёркин. — Не хочешь — не верь. Дурак я, что взял. Ничего интересного. Правильно его в газетах ругают. За что там Нобелевку давать? Скука такая, что скулы сводит...

— А ну-ка... — Мигулёв поставил кружку на тумбочку и, перегнувшись через проход между койками, выхватил томик из вялых от неожиданности рук соседа. — Не возражаешь? Та-ак... Этого я еще не читал.

— Оставь себе, — с облегчением проговорил Гена. — Я ж говорю — скучища. Едва до половины дотянул...

— Оставлю, спасибо, — задумчиво кивнул сосед, перелистывая тоненькие странички. — Эх, Гена-Геночка-Геннадий... Раньше ты только за хранение шел, а теперь вот еще и за распространение... Да не напрягайся ты так, я ведь шучу. Шучу я...

Юрий Андреевич слушал этот диалог с нарастающим разочарованием. Он никак не ожидал, что знакомство с ним вызовет у Синеи Бороды такую откровенную неприязнь. И не просто неприязнь — скуку! И это — первый его читатель, незабвенный для всякой книги, подобно первой любви для всякого человека! Его первый интимный контакт с теплой рукой, сжимающей раскрытый томик, с нетерпеливыми пальцами, поглаживающими страницу, с дыханием — ровным или участвовавшим в такт описываемым событиям, с улыбкой, сопровождающей удачную шутку, фразу, каламбур... И вот — скука! Скука?!

И, что самое обидное, бородатый Восьмёркин казался поначалу таким своим, таким близким Юрию Андреевичу. Ученый-аспирант, то есть заведомый интеллигент. Грубоватая повадка, низкосортные папиросы, синий халат, матерщина, то есть явная связь с простым народом. Происхождение из российской глубинки, то есть из мест, не столь уж удаленных от Юрятина... Все сходится! Почему же скука?! Да еще и такая, при которой отбрасывают книгу, не дочитав?

Зато Мигулёв с его каторжными замашками оказался довольно внимательным читателем. В отличие от Восьмёркина, легкомысленно пропускавшего абзацы, а иногда и целые страницы текста, он не испытывал затруднений даже в тех местах, которые выглядели скучноватыми и с точки зрения самого Юрия Андреевича. Вот только дружба с бывшим лагерником никак не завязывалась, а Юрию Андреевичу хотелось именно этого — теплых человеческих отношений, взаимопонимания, поддержки... Более того, если судить по хмурому выражению лица и недоуменному, а часто и презрительному фырканью, здесь, скорее, имела место откровенная антипатия, в лучшем случае — неприязненное равнодушие.

Книгу Мигулёв таскал с собой, в комнате не оставлял, резонно опасаясь чужих глаз — на то ведь оно и общежитие, что двери тут всегда нараспашку. Наученный горьким опытом, он вообще мало кому доверял не только в университетской среде, кишасей стукливыми дятлами, но и в принципе, по жизни. Одним из этих немногих был его старый научный руководитель Артамонов, тоже посидевший, хотя и коротко, в первой соловецкой волне конца двадцатых годов. Они успели съездить вместе в экспедицию еще до войны, и это давнее знакомство связывало их, как мост, протянувшийся над черной, на полтора десятилетия, дырой мигулёвской отсидки.

Нельзя сказать, что Юрию Андреевичу нравилась свалившаяся на него кочевая жизнь. Назначение книги — пребывать в руках читателя, на его столе, а в остальное время — на полке, в покое и ожидании. А непрерывная тряска в сумках, портфелях и карманах подобает разве что кошельку с медяками. Но и в комнате, где постоянно бубнила радиоточка, он чувствовал себя не лучше. Уж больно часто это неумолкающее радио говорило о нем — чрезвычайно скромном, в общем-то, человеке, никогда не любившем находиться в центре внимания.

За что его кляли и ругали с такой неистовой силой? Чем он провинился? Кого обидел он, тихий интеллигент, принципиально старавшийся жить по-христиански, то есть так, чтобы не обидеть никого? Вот и сейчас... — другой на его месте непременно бы оскорбился, стал протестовать, хлопать дверьми, стучать кулаком по столу... А он? Разве он оскорбляется, хлопает, стучит? Нет. Он привычно терпит, беззвучно глотает

боль, безропотно сносит несправедные наветы. Молчит, как Тот, из стихов в конце томика, отданный на суд подонкам и юлящим, как лиса, фарисеям. Ведь если даже Тот отказался без сопротивления, то осмелится ли поднимать голос протеста он, Юрий Андреевич?

И все же он радовался, когда Мигулёв, уходя из комнаты по своим делам, доставал его из-под подушки, чтобы сунуть в карман плаща или в потрепанную наплечную сумку — портфелем этот дважды студент так и не разжился. К несчастью, проклятое радио было включено повсюду — в квартирах, в конторах, в магазинах. От него нельзя было спрятаться даже в трамвае, даже на улице, где на фонарных столбах тут и там виднелись огромные раструбы, на весь мир возглашающие стыд и позор безответному томику в мягкой обложке.

Работало радио и в квартире доцента Артамонова, куда Мигулёв время от времени приходил обсудить предстоящие раскопки в приволжских степях, а заодно и подхарчиться. Как-то раз Юрий Андреевич уже приготовился вытерпеть очередную передачу о своем подлом предательстве, как вдруг Мигулёв, чертыхнувшись, поднялся со стула и выдернул из розетки шнур репродуктора. В квартире воцарилась тишина, хотя, если поднапрячь слух, можно было услышать звук той же трансляции из соседних квартир.

— Осточертело! — махнул рукой Мигулёв в ответ на удивленный взгляд своего руководителя. — Сколько можно? Долдонят одно и то же.

— А, ты об этом... — сообразил Артамонов.

— Об этом, об этом, — мрачно повторил студент. — Самое неприятное, что во многом они правы. Я ведь это сочинение совсем недавно проштудировал. Думал, будет что-то необыкновенное, если уж рабочие и колхозники так настоятельно рекомендуют не читать. Что-то типа «Войны и мира».

— Ну и как?

— А никак. Хрена лысого! Рыхло, слабо, бесформенно, непонятно зачем и о чем. Главный герой какой-то малахольный, ни рыба, ни мясо. Ходит, как бледная тень... вернее даже, не сам ходит, а ветер его носит. Туда — сюда, туда — сюда. И при этом благородный до карикатурности. А хуже всего — истертые банальности на каждом шагу. Любимая по долгу совести жена. Любимая по зову страсти любовница. Неумолимый рок, то разлучающий их, то сталкивающий снова — и опять же, без малейшего сотрудничества со стороны героя. Ну разве это не пошло, не безвкусно, не пережевано многократно обычным бульварным чтивом? Представляете, Алексей Алексеевич, есть там даже адвокат, совратитель малолеток, нечто среднее между Свидригайловым и порочным злодеем из оперетты. В общем, я еле-еле до конца дотянул, да и то потому лишь, что ждал и надеялся: а вдруг под занавес проявится какое ни на есть откровение. Поэт-то он все-таки хороший. Дудки. Финал — как вода в песок. Пустая вода, даже не зашипело.

Артамонов рассмеялся.

— Ну, Лёва, эк ты его растоптал... Человеку как-никак Нобелевку дали. Значит, были причины.

Мигулёв пожал плечами:

— Верно, дали. И причины, наверно, были. Только вот мне они не видны. Может, вы разберете, Алексей Алексеевич? Хотите, дам почитать? Или даже подарю — мне это великое творение все равно девать некуда. В общежитии такую книгу на полку не поставишь, да и не нужна она мне на полке.

— Спасибо, Лёва, но я уже прочитал.

— Прочитали? И что?

Артамонов помолчал, задумчиво глядя на стол с разложенными там бумагами и фотографиями. Юрий Андреевич, затаив дыхание, ждал его ответа. Он слышал весь разговор из сумки, которая висела здесь же, на спинке стула, и жестокие слова Мигулёва задели его намного сильнее, чем ежедневные потоки радиогрязи. Своему первому читателю он показался скучным — что, как выяснилось теперь, было далеко не самым обидным. Безвкусица, пошлость, банальность... — это уже звучало смертным приговором. Неужели доцент согласится? По возрасту он казался ровесником Юрия Андреевича и, значит, видел в жизни примерно то же, что и тот: почивший в сытости век больших надежд, Первую мировую войну, революцию, гражданскую, двадцатые годы... Уж такой-то человек должен кое-что понимать — в отличие от недалекого Восъмёркина или озлобленного жизненными невзгодами Мигулёва.

— Думаю, ты прав: роман слабый, — проговорил наконец Артамонов. — Проза хороша, словом он владеет мастерски, видно, что поэт написал. Но для романной формы этого маловато. Должна быть жизнь, объем, натуральное дыхание, а там в этом смысле плоско, как на плакате.

Сердце Юрия Андреевича упало. Это он-то плоский, плакатный, неживой?

— Но иначе, видимо, и быть не могло, — развел руками доцент. — Потому как евреем написано.

Мигулёв удивленно поднял брови.

— Что вы имеете в виду, Алексей Алексеевич? Что, еврей не может писать про русских?

— Может, конечно, может. Но правдиво при этом получится только в одном случае: если он пишет с позиции еврея. А тут автор пытается писать о русских как бы изнутри, как бы с точки зрения воображенного им русского писателя.

— Не уверен, что понял, — покачал головой Мигулёв.

— Смотри, Лёва, — сказал Артамонов. — Возьмем ситуацию наоборот. Как пишут о евреях русские? Гоголь, Пушкин, Достоевский, Тургенев... Пишут отстраненно: когда грубо, когда насмешливо, когда с презрением, когда с жалостью, когда с отвращением. Но всегда именно так, глядя со стороны. Это и есть правда, потому что евреи на Руси — посторонние люди, чужие, непонятные.

— Ну, допустим. И что?

— А то, что представь теперь другой вариант, когда тот же русский писатель берется описывать евреев как бы изнутри, как бы с точки зрения самих евреев. Может ли получиться у него что-либо другое, кроме сусальной банальности, вранья, ерунды на постном масле? Нет, не может, поскольку предмета он знать не знает, чувствовать не чувствует. Русские за это не берутся, и правильно делают. Потому что известно: не в свои сани не садись.

— Вы хотите сказать, что автор сел не в свои сани?

— Именно! Что видит реальный еврей, когда смотрит на реального русского? Видит угрозу, видит неприязнь — где открытую, явную, а где интеллигентную, спрятанную под внешней вежливостью. Видит чужого, враждебного, в лучшем случае — равнодушного человека. А что видит еврей, который непременно хочет заделаться русским и со временем даже уверяет себя и окружающих, что это ему удалось? Такой еврей видит совсем-совсем другого русского — этакое идеального Юрия... как его?

— Андреича, — подсказал Мигулёв.



— Вот-вот. А то, что подобного Юрия Андреича в природе нет и быть не может — об этом наш еврейский кандидат в русские и слышать не хочет. Ведь это означает, что он сам потерпел неудачу, что он так и не стал русским. Хотеть-то хотел, а вот стать — не стал... Знаешь, что? Если уж ты непременно хочешь пристроить эту книжечку в чью-то библиотеку, отдай ее какому-нибудь интеллигентному еврею, а еще лучше — еврейке. Им должно понравиться. У тебя есть такие знакомые?

Мигулёв кивнул:

— У кого нет... А почему еврейке лучше?

— Женщины реже стучат, — улыбнулся доцент. — Ладно, вернемся к нашим курганам...

И они вернулись к своим курганам, оставив Юрия Андреевича в тягостном недоумении. Это его-то не существует в природе? Чушь какая-то... Как и idiotское утверждение, будто еврей не может писать о русских. Почему не может? Разве автор не вырос в лоне русской культуры, под перезвон православных колоколов? Разве не общался он с русскими людьми? Как уверяла Лариса Фёдоровна, у любого русского, если он городской житель или человек умственного труда, половина знакомых — из числа евреев!

Хотя, честно говоря, Юрий Андреевич предпочел бы, чтоб их не было вовсе, этих знакомых, чтобы они исчезли, бесследно растворившись среди других — таких вот, как он, интеллигентных благородных людей. К несчастью, евреи упорно отказывались освободиться от самих себя, от верности своему потерявшему значение допотопному наименованию, от своей бесполезной и губительной позы, от приносящей одни бедствия обособленности. Юрия Андреевича сердило их ироническое самоподбадривание, будничная бедность понятий, несмелое воображение... — все это раздражало, как разговоры стариков о старости и больных о болезни. И даже когда их громили и убивали, Юрию Андреевичу трудно было отрешиться от ощущения постыдной двойственности, от сознания, что его сочувствие — наполовину головное, с неискренним неприятным осадком.

Да, он сочувствовал избиваемым евреям, чтобы отделить себя от погромщиков, чтобы не называться дурным, недопустимым для интеллигента словом «антисемит», а неприятный осадок оставался оттого, что на самом деле сочувствия не было и в помине; вернее, было, но стыдное, обращенное совсем к другой, избивающей стороне, выражающей по сути, хотя и в дикой непозволительной форме, то же самое подспудное желание Юрия Андреевича видеть окончательное исчезновение с лица земли этой бесполезной, а значит, вредной народности упрямец. Их крикливое, назойливое, нелогичное и потому абсолютно незаконное с точки зрения здравого исторического смысла присутствие беспокоило и мешало жить. По этой причине Юрий Андреевич предпочел бы не замечать их вовсе.

Что было, конечно, невероятно трудно ввиду особенной активности евреев и их непропорционально большого участия буквально во всех важных событиях. Трудно, но возможно... Юрий Андреевич мысленно пролистал страницы романа и, к своему удовлетворению, обнаружил там всего двух представителей лишней нации: Сашу Гордона, полностью разделявшего концепцию бесследного растворения, и безымянного старика, над которым подшучивал казак, делая это, впрочем, беззлобно и необидно, что не помешало Юрию Андреевичу сурово выбрать шутника.

Всего двое — считай, что и нет... Может, в этом-то и проблема? Может, их отсутствие в книге зияет, подобно черной дыре, создавая ощущение недосказанности, неполноты, неправды? Но ведь история и назначила им неминуемо провалиться в эту

черную дыру — и чем скорее, тем лучше... Значит, эта неполнота — вовсе не неправда, а напротив, выражение высшей, будущей правды, где нет ни элина, ни иудея. Нет! Сколько в романе элинов? Ни одного! А вот чертовых иудеев — сразу два, то есть ровно на два больше, чем надо!

Почему же старый доцент Артамонов с такой уверенностью отсылает его к евреям? «Им должно понравиться!» Это попросту несправедливо! Роман писался вовсе не для евреев!..

Эти горькие сомнения мучили Юрия Андреевича в течение нескольких недель, так что он почти не обращал внимания на происходящее вокруг. Мигулёв избавился от него уже на следующий день после разговора с доцентом — просто сунул в карман случайно встреченному на улице бывшему зеку, знакомому по Карлагу. Знакомый полистал-полистал, да и передал томик дальше, кому-то другому. Поглощенный своими проблемами, Юрий Андреевич не всматривался в лица новых хозяев. Да он и не считал их хозяевами. Его просто перекидывали из рук в руки, как бездомную дорожную проститутку, кочующую из кабины в кабину — без любви, без тепла, без собственного угла, куда можно было бы вернуться, чтобы перевести дух.

Даже у зачитанной библиотечной книги есть свое законное место на полке, есть формуляр, есть строка в каталоге — ее и ничья другая. Он же пребывал в постоянном движении, в принципиально временных, не предназначенных для отдыха обиталищах: в карманах вместе с табачными крошками и трамвайными билетами, в набитых черт знает чем дамских сумочках, под подушками и матрацами, в выдвижных ящиках и бельевых корзинах...

Теперь Юрий Андреевич старался не вслушиваться в читательские мнения на свой счет — они лишь усугубляли степень его обиды. Особенно удручали похвалы, которые обычно выглядели хуже ругани, поскольку сразу сворачивали на посторонние темы, не имевшие никакого отношения к литературе, — на скандал, на политику, на «борьбу с властями». Борьба с властями... — надо же придумать такое! Он в жизни не боролся и не собирался бороться ни с какими властями — зачем же его силой и обманом сделали символом этой бессмысленной, бесполезной возни?! Зачем его, всегда ненавидевшего шумиху — даже шумиху успеха — превратили в позорную притчу на устах у всех?

Так ли уж много ему требовалось, в самом-то деле? Всего лишь крошечку искренней теплоты, участия, живого чувства... Увы, Юрий Андреевич уже не надеялся, что кто-то влюбится в него или заплачет над его судьбой, или хотя бы чуть-чуть пожалеет, как это сплошь и рядом случается с героями других, куда менее известных романов и пьес. Неужели он действительно настолько бесцветен, что не задевает ничьей душевной струны?

Потеряв счет времени, Юрий Андреевич уныло ждал конца; в самом деле, сколько может протянуть в таком беспощадном режиме маленький томик в мягкой обложке, давно уже изношенной, засаленной, измятой? Он не сразу обратил внимание на явную перемену в своем положении: теперь Юрия Андреевича почти не прятали, все чаще и чаще оставляли неприкрытым, передавали друг другу без оглядки, а какой-то студент даже осмелился читать в переполненном метро на глазах у всего вагона! Скорее всего, это свидетельствовало о снижении накала скандальных страстей; видимо, власти наконец осознали, что нет смысла преследовать того, кто даже в мыслях не покушался на их державный авторитет.

К сожалению, утратив интерес со стороны карательных органов, Юрий Андреевич не приобрел ничего нового в плане читательского внимания. Хуже того, отныне его

пролистывали не столько из любопытства, как раньше, сколько для галочки, как неотъемлемую часть культурного минимума интеллигентской фронды, что и вовсе превращало чтение в удручающе казенный, школьный процесс. Поэтому Юрий Андреевич почти обрадовался, когда измочаленная обложка отлетела, сигнализируя о близком конце мучений. К тому времени он уже знал о судьбе, постигшей большую часть тиража: эти томики просто забрасывали в окна автобусов, перевозивших членов советской делегации на Венском фестивале молодежи и студентов. Трудно было вообразить более глупого способа. Все эти книжки пошли впоследствии под нож еще в невинном, никем не читанном состоянии... Что ж, так они были хотя бы спасены от страданий, которым подвергался сейчас их несчастный одинокий близнец Юрий Андреевич, вынужденный отдуваться едва ли не за всех...

Но предчувствие конца оказалось ошибочным: как выяснилось, пожилой отец очередной хозяйки Юрия Андреевича, выйдя на пенсию, увлекся переплетным делом. Скептически осмотрев принесенный дочерью томик, пенсионер сказал, что готов довести его до ума, но с одним условием: книга останется в домашней библиотеке. Еще не поднаторевший в новом ремесле старик слишком ценил свой труд, чтобы пустить его плоды по чужим рукам. Женщина согласно пожала плечами — когда ей давали распадающегося на куски Юрия Андреевича, речи о возврате не шло.

Так Юрий Андреевич нежданно-негаданно обрел дом. И пусть причиной тому стали не его предположительно бесцветные личные качества, а любительский неумелый переплет, факт оставался фактом: впервые в жизни окрепший и даже как будто помолодевший Юрий Андреевич стоял на полке в ряду других книг! Да-да, на самой настоящей книжной полке в настоящем книжном шкафу, бок о бок с синеньким собранием сочинений Чехова, тяжеловесным Шекспиром в желтоватой суперобложке и черно-красно-золотыми томами неизвестного Юрию Андреевичу, но наверняка чрезвычайно солидного немецкого писателя Лиона Фейхтвангера.

Юрия Андреевича не очень огорчало, что пенсионер и его дочь не торопились познакомиться с ним поближе посредством чтения. Первого он интересовал исключительно как объект для переплета; вторая, школьная учительница русского и литературы, была до смерти задергана проверкой тетрадей, подготовкой к урокам и нелегким бытом матери-одиночки. Ну и что? Глаза б его не видели этих читателей! Теперь Юрий Андреевич наслаждался совсем другими вещами: долгожданным отдыхом, солидным статусом и восхитительным духом книжного шкафа — запахом типографии, пыли, кожи и сухого картона.

Наконец у хозяйки выдался относительно свободный вечер, и она, укрывшись пледом, улеглась с книгой на диван под незатейливым светильником чешского стекла, именуемым еще отвратительно бранным словом «бра». Как и ожидал Юрий Андреевич, интерес читательницы угасал с каждой страницей; час спустя она зевнула и перескочила прямиком в конец книги, к стихам.

Нужно сказать, что Юрий Андреевич не любил эту часть томика. В романе утверждалось, что автором этих двух дюжин недюжинных стихотворений был именно он, мало на что претендующий скромняга. Трудно было вообразить большее несоответствие реальному положению дел — ну разве он мог написать такое? Где-то за год до обретения переплета Юрий Андреевич узнал, что в Голливуде сняли фильм, где его — некрасивого, курносого, привычно тушующегося человека играл записной оболститель с внешностью неотразимого героя-любownika. Вот и со стихами выходило примерно то же, только еще хуже. Ну почему, почему его вечно вынуждали выставлять себя самозванцем — лауреатом, красавцем, поэтом?

Судя по всему, женщина читала эти стихи и раньше — возможно, как и роман.

— Миша! — позвала она. — Иди сюда, мальчик. Послушай, как это хорошо...

Подошел сын — подросток лет десяти или немного старше.

— Сюда, сюда! — сказала мать, откидывая край пледа.

Мальчик прилег рядом, прижавшись щекой к ее плечу. На тумбочке рядом с диваном негромко тикал будильник, слегка подавленный прихлопнутой еще утром кнопкой звонка. К оконному стеклу слетались из темноты крупные хлопья снега, прилипали, таяли, сменялись другими. Со сна прожурчала что-то батарея отопления и смолкла, снова погрузившись в дремоту. Чешское бра экономно, по-европейски, освещало страницы, принципиально не размениваясь на плюшевую мглу, свернувшуюся в углах комнаты.

— И ветер, жалуясь и плача, раскачивает лес и дачу... — вполголоса читала женщина, и звуки раскачивались на длинных качелях, навешенных на огромные буквы А, и мальчик, смежив веки, заворуженно следил за их взлетом, внешне свободным, но на самом деле накрепко скованным непрременной обязанностью возвращения в жесткую рамку строфы.

Снежная тьма за окном, журчание батареи, мягкий плед, ласковый полумрак, неопасные домашние тени на стенах и потолке, мама и ее мальчик... — от всего этого веяло таким теплом и уютom, что сердце Юрия Андреевича сжалось от внезапного, незнакомого ощущения счастья. Именно этого он хотел, об этом мечтал с того самого момента, когда его собственную маму забросали мерзлой кладбищенской землей — тогда ему было столько же, сколько этому десятилетнему счастливцу. Такого вот живого тепла, родства, ласки он ждал от людей всякий раз, когда они брали в руки этот маленький томик, — ждал и наконец дождался. И пускай стихи принадлежали совсем не ему — или, что точнее, не совсем ему — какая разница? Ради таких дорогих минут не возбранялось даже немного сжульничать...

Потом мальчик Миша вырос и уже сам стал снимать Юрия Андреевича с полки. Теперь их двоих навсегда связывал тот незабвенный зимний вечер под пледом и под маминым боком. На взгляд из книжного шкафа, жизнь текла размеренно и легко, без видимых проблем — ну разве что люди по ту сторону застекленных дверей старели чересчур быстро. Дед в последние годы стал настоящим профи, мастером своего дела; в итоге он и умер за столом, положив голову на незаконченный заказ. И хотя старик так и не удосужился открыть спасенный им томик на предмет чтения, Юрий Андреевич даже не думал обижаться на него за это: как-никак, именно дед подарил ему вместе с переплетом дом и семью. Мама-учительница к тому времени вышла на пенсию и на общественных началах работала в библиотеке при местной жилконторе.

Потом Миша привел жену; Юрий Андреевич одобрил его выбор прежде всего потому, что девушка очень напоминала Мишину мать, которая, кстати говоря, довольно быстро последовала за дедом-переплетчиком, уйдя так же тихо и безропотно, как он, будто боялась обременить домашних неприятными больничными проблемами.

В дом приходили друзья, велись умные разговоры; Юрий Андреевич всегда прислушивался к ним с определенной тревогой. Он по-прежнему входил в список интеллигентского культурного минимума и оттого вынимался из шкафа намного чаще какого-нибудь Шекспира, который, как старая дева, стеснялся неразрезанных страниц во многих своих томах. С одной стороны, подобное внимание льстило Юрию Андреевичу; с другой — он опасался не вернуться домой, к Мише. С некоторыми книгами это действительно случилось: зачитают и поминай как звали...

Лучше всех ему запомнился Слава Кричман, Мишин друг еще с института.

Запомнился потому, что их последний, самый яростный спор коснулся непосредственно Юрия Андреевича.

— Но зачем? Зачем? — недоуменно мотая головой, вопрошал Миша. — На черта тебе сдалось это крещение? Да еще и добровольное! Кантонистов крестили силой, другие шли на это ради карьеры... — но добровольно, искренне? Ты ведь в курсе, что по мешумадам принято сидеть шиву, как по покойникам?

— Было принято, — возражал Слава, делая ударение на первом слове. — А теперь никто не сидит. Теперь нас много. По сути, это логичное официальное закрепление уже существующего порядка вещей. Ну какой из меня еврей? Я родился и живу в русской культуре, в русской традиции, мой язык — русский, мой ассоциативный мир наполнен православными символами... Почему бы тогда не сделать последний шаг? Это выглядит честным признанием реальности, не более того.

«Опять! — с неудовольствием подумал Юрий Андреевич. — Сколько можно обсасывать одну и ту же тему? На все эти вопросы давно дан ясный недвусмысленный ответ: евреи должны исчезнуть, раствориться... Странно, что Миша возражает...»

— Это подлость, — негромко проговорил Миша. — Я могу понять твоё желание забыть, что они делали с нами на протяжении столетий: страшная память о таких муках не каждому под силу. С чем я никак не могу смириться, так это с переходом на сторону мучителей.

Слава возмущенно фыркнул.

— Подлость? Подлость? Да вот же твой любимый поэт... пишет... где это?..

Он шагнул к шкафу и, скользнув взглядом по корешкам, вытащил Юрия Андреевича на свет Божий.

— Где же это... а, вот! Слушай! «В чьих выгодах это добровольное мученичество, кому нужно, чтобы веками покрывалось осмеянием и истекало кровью столько ни в чем не повинных стариков, женщин и детей... Опомнитесь. Довольно. Больше не надо. Не называйтесь, как раньше. Не сбивайтесь в кучу, разойдитесь. Будьте со всеми. Вы первые и лучшие христиане мира...» — Слава захлопнул томик и торжествующе потряс им в воздухе. — Ну? Что скажешь?

— Что скажу? — усмехнулся Миша. — Что скажу я, не так уж и важно. Важно, что говорят твои новые единоверцы. «Жид крещеный, что вор прощенный» — слышал такое?

Слава всплеснул руками:

— Ну вот! Теперь ты говоришь устами черносотенцев! Почему я должен ориентироваться на эту мразь, а не на нормальных культурных людей?

— Ориентируйся на историю. Если она чему-то и учит, так это тому, что любая попытка, как ты говоришь, «раствориться» приводила к еще большей волне погромов. А что касается мрази... Мразь говорит открыто, а культурная публика — шепотком, среди своих, в частных письмах. Еще неизвестно, что хуже.

— История меняется, это факт, — возразил Слава. — И публика меняется тоже. И вообще, это вопрос интеллектуальной честности. Человек должен делать то, что кажется ему правильным, и не поддаваться давлению других. Какая разница, кто что говорит? — он снова сильно потряс томиком, едва не вытряхнув оттуда Юрия Андреевича. — Вот он слушал только свою совесть. И совесть привела его к христианству. На каком основании ты называешь этот выбор подлостью?

Миша молчал. Юрий Андреевич неловко ежился в руке Кричмана. Ему хотелось назад, в шкаф, к Чехову и Шекспиру, подальше от этого крайне неприятного спора, от вдруг нахлынувших воспоминаний о прежней безумной мягко-обложной, жестко-

облыжной жизни. Доцента Артамонова, наверно, уже нет в живых; как он сказал тогда Мигулёву? «Отдай эту книгу евреям, им понравится...» — что-то в этом духе. И вот он, результат: Юрий Андреевич и в самом деле прижился у них, у евреев. Прижился не по своему выбору — такова была воля судьбы, пославшей ему старика-переплетчика.

В какой-то степени это извиняло Юрия Андреевича. Он и в дальнейшем, как мог, старался игнорировать приметы огорчительного еврейства приютившей его семьи — благо, таковых было совсем немного — ну, разве что у деда, который любил напевать за работой старые песенки на идише. Он и переплетным-то делом увлекся не просто так, а в память о своей семье, в течение нескольких поколений державшей такую мастерскую в еврейском городе Проскурове. Ну так что? Проскуров давно уже перестал быть еврейским; теперь он назывался Хмельницким, и это переименование лучше всего отражало необходимость забыть, исчезнуть, раствориться. В конце концов, Мишина мама учила детей не Шолом-Алейхему или... кто там еще у них был?.. — а Пушкину и Толстому. А Миша и вовсе был обычным школьником, студентом, инженером, ничем не отличавшимся от миллионов других, русских людей. Откуда же, из каких темных омутов всплыли теперь эти странные слова, значения которых Юрий Андреевич не знал, но при этом нисколько не сомневался в их пагубном, чуждом происхождении. «Мешумад», «шива»... — да, это явно не на санскрите...

— Пришел к христианству?.. — задумчиво, без прежней запальчивости, проговорил Миша. — Скорее, к тому, что он называл христианством. Перечитай его стихи, Слава. Ну что там от православия, кроме частично схожего набора слов? Ни следа от мутного гностического дуализма, от дьявола и его искушений, от всех этих мучеников, раскаяний, отпущения грехов, иконопоклонства и прочей лабуды, составляющей сердцевину твоей новой религии. Есть идея любви, но главное — идея всеобщности. Его мир огромен и неделим: природа, предметы, люди — всё объединено в одном гигантском божественном облаке. Если и есть тут христианство, то лишь экуменическое, да и это вряд ли. Потому что неделимость мира — идея чисто еврейская, еще в Моисеевых заповедях закрепленная. И креста, в отличие от тебя, он на шею не вешал. Так что побереги звание подлеца для реальных мешумадов...

— Боже, что он несет... — в ужасе прошептал Юрий Андреевич.

Слава повернулся, чтобы вернуть томик на полку. Рука его заметно подрагивала, так что в щель между Чеховым и Шекспиром Юрий Андреевич протиснулся лишь с третьей попытки. Больше он Кричмана не видел, а неприятный разговор постарался забыть, что удалось довольно легко из-за начавшейся вскоре неразберихи, связанной с переездом Мишиной семьи на другую квартиру.

Переезд — дело серьезное не только для людей, но и для книг. Как объяснил Юрию Андреевичу его бывалый сосед, обитатель синего томика Иван Петрович Войницкий, только перед переездом хозяевам библиотек приходит в голову шальная мысль перебрать содержимое книжных шкафов на предмет обнаружения «лишнего». Последнее слово склонный к меланхолии Иван Петрович произносил с особенно горестной интонацией.

— Лишнего! — говорил он, добавляя к горечи еще и привкус возмущения. — Как будто книги бывают лишними... Так или иначе, Юрий Андреевич, смею вас уверить, что на новом месте мы не увидим значительную часть наших нынешних товарищей по шкафу. Если сами при этом уцелеем. Да-да, не удивляйтесь: сейчас все должны чувствовать себя в опасности. Кроме, конечно, обладателей самых красивых корешков...

И Войницкий со значением косился в сторону роскошных суперобложек Шекспира, которого презирал за излишнюю плодовитость.

Так оно и случилось; из довольно объемистой семейной библиотеки хозяева упаковали в дорогу не больше трех сотен томов. Остальное распродали или раздали, включая, кстати, и Шекспира — так что в этой части своего предсказания Иван Петрович ошибся. Зато Юрия Андреевича, к его радости, уложили в картонную коробку вместе с Войницким, который, тем не менее, продолжал недовольно ворчать.

— В коробки-то мы попали, Юрий Андреевич, — говорил он, саркастически, — да вот когда из них выберемся? После переезда книги распаковывают в самую последнюю очередь. Сначала всегда берутся за кухню, а пища духовная — шут с ней! Душа — не желудок, душа подождет... Эх, недотепы...

Но даже завзятый пессимист Иван Петрович не мог предположить, как долго им выпадет кантоваться в этой чертовой картонке из-под хозяйственного мыла, проложенной со всех сторон газетой от сырости и перевязанной крест-накрест крепкой бельевой веревкой. Сначала они дурели от тряски и качки, от грубых грузчиков, от жестких рук и тугих ремней. Потом целую вечность ждали перемен и мечтали о новом шкафе — пахнущем свежими досками, лаком и морилкой — взамен надоевшего старого, скрипучего, щелястого, изъеденного жучками. Затем, потеряв счет месяцам и годам, впали в анабиоз и уже не думали ни о чем; лишь один Войницкий время от времени встрепенувшись, бормотал свое унылое «Мы отдохнем... мы отдохнем...», как будто кто-то здесь действительно нуждался в отдыхе, а не в избавлении.

И вот оно пришло — внезапно, как заново обретенная жизнь. Пали застарелые оковы бельевых веревок, рухнули гофрированные стены темниц, слетели к чертовой матери пожелтевшие газетные покровы. Знакомые Мишины руки подняли Юрия Андреевича из пучины отчаяния, вынесли на свет дня — такого ослепительного, что пришлось ждать, пока привыкнут глаза. За прошедшие годы хозяин сильно изменился, постарел, но в ладонях его ощущалось прежнее тепло, идущее напрямик отсюда — с памятного вечера на диване под боком у мамы, под пледом и под светильником чешского стекла.

— Ну что, заждались? — ласково сказал Миша, обращаясь ко всем книгам сразу. — Пока то да сё... Только сейчас и собрались шкаф заказать. Сами понимаете — переезд.

Юрий Андреевич перевел взгляд за окно, где сияло непривычно синее и непривычно высокое, без единого облачка небо. Дом стоял на склоне горы; под ним виднелись городские районы, разбросанные между холмами, подобно выстроившимся перед большим сражением гренадерским полкам. А еще дальше, ближе к горизонту, блестел золотой купол — как тогда, возле совсем другого окна, в самом начале жизни.

«Нет, это не Исаакий, — подумал Юрий Андреевич. — И небо другое. И дома какие-то слишком белые. Впрочем, такое солнце что угодно выбелит. И чего-то явно не хватает... Вот только чего?»

Не хватало реки. Все знакомые Юрию Андреевичу города стояли на берегах рек. Впрочем, как заметил Иван Петрович, шут с ней, с рекой, главное, что был шкаф — именно такой, о каком мечталось: новый, пахнущий свежестью, с крепкими прямыми полками и застекленными дверцами. Они снова были вместе, бок о бок, спаянные перенесенными трудностями и гордые ощущением избранности. Хотя, если честно, иногда Юрий Андреевич скучал по прежним товарищам — даже по высокомерному Шекспиру: в его отсутствие не над кем стало посмеиваться из-за неразрезанных страниц...

Со временем он обратил внимание и на другую деталь: шкаф теперь почти не открывали. Оставалось заключить, что Юрий Андреевич, как и все его однополчане,

то есть соседи по полкам, отчего-то выпали не только из пресловутого культурного интеллигентского минимума, но и из обычной школьной программы. Это еще можно было пережить — куда больше Юрия Андреевича беспокоило другое: впервые подмеченные им признаки Мишиной старости.

К сожалению, люди недолговечны; зато книгам назначено жить намного дольше, переходя в семье от поколения к поколению. В этом не было ничего из ряда вон выходящего: умер дед-переплетчик, за ним — Мишина мама, скоро настанет и черед Миши. Другое дело, что так же — от поколения к поколению должно передаваться и самое важное: живой контакт между человеком и книгой, их взаимное тепло, участие, сплетенье душ, судьбы сплетенье... И всего этого можно добиться лишь одним способом: сняв книгу с полки. Снять книгу с полки, открыть ее в нужном месте и, откинув край пледа, позвать ребенка:

— Иди сюда, мальчик...

Чтобы запомнил этот вечер на всю жизнь, чтобы вернул его потом со своим сыном, со своей дочерью. В теории это казалось Юрию Андреевичу необыкновенно простым. Вот ведь его томик — здесь, на полке, всегда под рукой, всегда готовый раскрыться на любой странице. А вечер... неужели трудно найти хотя бы один, подходящий? В году их аж триста шестьдесят пять, выбирай по вкусу. Но это только в теории. На практике же получилось, что из-за проклятого переезда Миша упустил драгоценное время. Дочка выросла, вышла замуж и теперь оставалось рассчитывать только на внуков.

Внуки — два сорванца-погодка — жили в другой квартире, но часто навещали Мишу. В стеклах книжного шкафа то и дело мелькали отражения их постоянно улыбающихся физиономий. Мальчишки переговаривались, вернее, трещали без умолку на каком-то тарабарском наречии. Дед отвечал им по-русски, что позволило Юрию Андреевичу спустя пять-шесть лет освоить тарабарщину настолько, чтобы через пень-колоду понимать почти все сказанное.

Снег в этом городе выпадал редко, но однажды выдался по-настоящему зимний вечер. В новостях говорили об огромных по здешним понятиям сугробах, о заваленных дорогах и остановившемся транспорте. К оконному стеклу слетались из темноты крупные хлопья снега, прилипали, таяли, сменялись новыми, и это живо напомнило Юрию Андреевичу другие времена и другие комнаты — с журчащей батареей, клетчатым пледом и экономным светильником со странным именем «бра».

Как видно, и Мишу посетили те же самые мысли, потому что он, постояв у окна, вдруг обернулся и взглянул в сторону шкафа. Сердце Юрия Андреевича забилось сильнее.

«Ну же! — почти закричал он. — Давай! Сейчас самое время!»

И действительно, хозяин снял с полки томик в дедовском переплете и, присев на диван, позвал внуков. Мальчишки прибежали немедленно: в квартире было прохладно, а места под боком у деда обещали и уют, и ласку.

— Послушайте, как это хорошо, — сказал Миша и стал читать, вполголоса, как некогда мама: — «Мело, мело по всей земле...»

— Что такое «мело»? — прервал его младший внук, Дани.

— Фамилия, — авторитетно ответил старший, Амит. — У меня в классе есть один такой: Рами Мило.

— Он что, русский? — поднял брови Дани.

— Да какое там русский! — отмахнулся брат. — Мама у него марокканка, а папа поляк.

— Э, ребята, так не пойдет, — вмешался Миша. — Правильно не «русский», «марокканец» и «поляк», а «выходец из России», «выходец из Марокко»... и так далее.



— Это слишком длинно, саба, — снисходительно заметил Дани. — Проще так, как мы.

— Саба прав! — оборвал его Амит. Исключительное право противоречить деду принадлежало здесь ему и только ему. — Наша учительница говорит, что скоро вообще не будет никаких «русских» и «марокканцев».

Дани недоверчиво усмехнулся:

— Куда же они денутся?

— Исчезнут. Растворятся... — Амит для убедительности прищелкнул пальцами. — Вот так: растворятся без следа. И останутся одни евреи. Правда, саба?

Миша захлопнул книгу.

— Правда, — сказал он, прижимая к себе обоих внуков. — Растворятся без следа. Где-то я уже слышал эти слова...

— От Малки? — догадался Амит.

— От какой Малки?

— Ну, от моей учительницы...

— Ах, да. Нет, не от Малки, — рассмеялся Миша. — Что ничуть не отменяет ее оглушительную правоту. Кто тут хочет пиццу?

Сопровождаемый восторженными воплями мальчишек, он вернул томик на полку и пошел доставать из холодильника пиццу. Юрий Андреевич, не веря своим ушам, ошеломленно взирал на происходящее сквозь стеклянную дверцу шкафа. Неужели это всё? Почему столь многообещающий контакт завершился, едва начавшись, на первой же строчке, неправильно к тому же понятой? Ерунда какая-то... А уж замечания по поводу растворения русских и вовсе ни в какие ворота не лезли. В честь чего это он, Юрий Андреевич, должен где-то растворяться? А как же все мысли веков, все мечты, все миры, всё будущее галерей и музеев? Куда денется это богатство, где пропадет?..

Хотя, если подойти к вопросу по-философски, то нельзя не признать определенную правоту учительницы Малки. В конце концов, Саша Гордон и Лара говорили ровно то же самое. Правда, они полагали, что растворятся евреи, а останутся русские, в то время как новая интерпретация расставляла сливаемые воедино народы в обратном порядке. Но разве перемена мест слагаемых может повлиять на сумму? Ведь главной целью по-прежнему остается глобальное единство людей, их универсальная культурная основа, выход за рамки узколобой национальной обособленности. Если нет ни эллина, ни иудея, ни русского, то неважно и каким словом назовут этот результирующий всеобщий народ — хоть евреями, хоть зулусами, хоть чертом в ступе. Важен сам процесс слияния, растворения — разве не так?

Утомившись от судьбоносных раздумий, Юрий Андреевич решил поделиться своими сомнениями со старинным приятелем из синенького томика. Выслушав соседа, Иван Петрович отрицательно покачал головой:

— Растворяться? В евреях? Ну, это вы хватили через край, батенька. Вот уж чего не хотелось бы.

— Почему, Иван Петрович? Вы же сами как-то замечали, что в России только они и читают. Что, не будь этих еврейских юношей и девушек, пришлось бы повсюду закрывать библиотеки...

Войницкий пожал плечами.

— Библиотеки библиотеками, а табачок все-таки врозь. Помимо всего прочего, они ведь так чудовищно безвкусны, Юрий Андреевич... Ну посудите сами: разве не оскорбляют ваше эстетическое чувство все эти... — он состроил уморительную гримасу и прошепелявил, довольно точно копируя нелепый еврейский акцент: — ...все эти фармацевты, цестные еврейчики и прочая шволочь?.. А эта их ужасная страсть к

наживе? Копят и сами не знают, для чего копят. Нет уж, вы как хотите, а я в такой мерзости растворяться не буду.

На том пока и порешили.

За стеклянными дверцами снова потекла размеренная плавная жизнь — во всяком случае, так казалось обитателям шкафа, который теперь открывался лишь на предмет смахивания пыли. Иссушающая жара сменялась холодными ливнями, а ливни — жарой. Ничего-ничего, успокаивал себя Юрий Андреевич. Удел домашней книги — ждать своего часа. Как говорит Иван Петрович, мы еще увидим небо в алмазах...

Предсказания Войницкого обычно сбывались, хотя и не полностью. Так произошло и на этот раз. Как-то утром в комнату вошли Амит и Дани, превратившиеся за это время в здоровенных красавцев-мужчин, очень похожих на исполнителя роли Юрия Андреевича в голливудском кино. Младший был в армейской форме с тремя полосками на погонах.

— Сабы уже нету, — сказал он, явно продолжая начатый раньше разговор, — а кроме него кому этот хлам нужен...

— Может, все-таки библиотека возьмет? — спросил старший.

— Я узнавал, — со вздохом ответил Дани. — Ни в какую. Говорят, место в хранилище кончилось. Причем, везде и всюду. Переводят на электронные носители.

— Ну тогда... — Амит распахнул дверцы шкафа. — Я беру эту полку, ты следующую...

— Похоже, опять переезд, — озабоченно шепнул на ухо Юрию Андреевичу проснувшийся от внезапной качки Иван Петрович. — Вот ведь недотепы...

Десять минут спустя все обитатели шкафа уже стояли несколькими высокими стопками на асфальте по соседству с какими-то дурно пахнущими зелеными ящиками, а над ними вместо верхней полки сияло бесконечно глубокое голубое небо — всё в алмазах, как и обещал Войницкий. Из-за ящика вышла поджарая остромордая кошка, понюхала книги и чихнула.

— А ведь это, похоже, помойка, Иван Петрович... — сказал Юрий Андреевич.

— Глупости, — сердито отвечал сосед. — Говорю вам, переезд. Причем, слава Богу, близкий, поэтому и в коробки не упаковали. Сейчас подъедет машина и погрузят, вот увидите.

Машина действительно подъехала — огромная, с ковшом позади и двумя смуглыми поджарыми парнями, повадкой напоминающими давешнюю кошку. Спрыгнув с подножек, парни споро покидали книги в грязную прорву ковша. Затем туда же полетели пластиковые мешки с мусором.

— Что это... — задыхаясь от вони, пролепетал Юрий Андреевич. — Зачем?

Мусоровоз тронулся с места и тут же, устрашающе скрежеща, пришел в движение ковш. Пакеты лопнули; в лицо Юрию Андреевичу плеснуло омерзительной гнилью. Надвинулась стальная плита, прессуя содержимое камеры в единый неразделимый мусорный ком. Вокруг пыхтела гидравлика, скрипели, лопаясь, книжные переплеты, страницы сминались в липкую бумажную массу; растворяясь в ней, бесследно исчезая, мелькнула страшно расчлененная фигура Войницкого, а следом — все шалости фей, все дела чародеев, все елки на свете, все сны детворы, весь трепет затепленных свечек, все цепи, всё великолепье цветной мишуры, все праздники, все золотые...

«Вот и растворились...» — подумал Юрий Андреевич и перестал быть.